

**Всеволод Иванов**

# **Агасфер**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82-312.9  
ББК 84-445  
В84

**Всеволод Иванов**

В84 Агасфер / Всеволод Иванов – М.: Книга по Требованию, 2012. – 50 с.

**ISBN 978-5-458-04218-5**

Илья Ильич лечится в Москве в 1944 году после ранения. Неожиданно к нему в дом приходит странный человек, назвавший себя Агасфером. Он рассказывает Илье Ильичу историю своей жизни, в которой было немало мистических событий.

**ISBN 978-5-458-04218-5**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2012

Всеволод Иванов  
Агасфер



Воспользовавшись тем, что контузия на продолжительное время задержала меня в тылу, я предложил кинофабрике написать сценарий «Агасфер»<sup>1</sup>. Я прочел эту легенду на фронте. Образ человека, остающегося бессмертным среди многих десятков поколений и появляющегося в разных концах мира, поразил мое воображение. Надо думать, что смерти, которых я много видел, помогали моему воображению.

Кинематографисты встретили меня доброжелательно. «Это может быть оригинальный фильм, — сказал один из режиссеров и задумчиво добавил: — Да и тема близка западному зрителю, а мы для него мало ставим картин. Очень и очень оригинально».

Оригинально? Допустим. Но явление ли она — искусству? Вдумавшись, я вижу эту тему довольно-таки слабой. Недаром большие и малые поэты Европы, обрабатывавшие этот сюжет, потерпели неудачу. Андерсен<sup>2</sup>, Шлегель, Жуковский<sup>3</sup>, Гете<sup>4</sup>, Евгений Сю<sup>5</sup>, Эдгар Кинэ<sup>6</sup>, Кармен Сильва, Франц Горн, Ленау<sup>7</sup>... какая смена лиц и как она похожа на ту смену ряда исторических картин, — лишенных всякой реальной связи, — что пытались объединить именем Агасфера! И может быть, лучше всех объяснил это явление М. Горький<sup>8</sup>, несколькими строками, в великолепной статье своей «Легенда об Агасфере»: «Эта легенда искусно соединяет в себе и заветную мечту человека о бессмертии, и страх бессмертия, вызываемый тяжкими мучениями жизни, в то же время она в образе одного героя как бы подчеркивает бессмертие всего израильского народа, рассеянного по всей земле, повсюду заметного своей жизненеспособностью». Это, скорее всего, тема публицистики, чем художественного произведения, — если допустить, что публицистика и художественность в чем-то противоположны.

Около двух часов ночи, отложив наброски в сторону, я решительно написал кинофабрике, что отказываюсь от обработки «Агасфера». А написав, грустно задумался. Ух, как отчаянно грустно в наше время всевозможных удач стоять неудачником даже среди самых знаменитых неудачников!

Я холост и одинок. Мне тридцать лет. Несколько месяцев назад, после сильной контузии, мне дали полугодовой отпуск из армии. Тут-то я и подумал об Агасфере. Неудачное бессмертие, ха-ха!

«Моя любовь к тебе бессмертна и вечна», — говорила она, когда я уезжал на фронт. И тут же хотела, чтоб я немедленно женился на ней. Мы познакомились с нею недавно. Ее горячность казалась мне чрезмерной, — может быть, потому, что моя горячность тоже казалась мне неправдоподобной. Мучительное желание проверить нашу

страсть овладело мной. «Если наша любовь вечна, — сказал я ей, — то ничего не случится в те несколько месяцев, которые я пробуду на фронте: предчувствую, что меня скоро ранят и я вернусь». Предчувствие не обмануло меня, я действительно вернулся через несколько месяцев с предчувствием, что она верна мне. Она не пришла меня встречать к поезду. Подруга принесла записку — она полюбила другого. Я не спросил имени любовника. Зачем? Добавлю, что ее зовут Клава. Клава Кеенова. Неприятно писать ее фамилию: ее подруге я сказал, что я так и думал — она родилась и осталась Гееновой. Ах, как нехорошо и плоско!

Я живу в коммунальной квартире. На входной двери у нас — длинная, темная дощечка и, словно ряд пуговиц, перечисление фамилий и звонков: кому сколько раз звонить. Я второй сверху, и ко мне два звонка. И вот, ровно в два часа ночи, едва лишь я подписался под заявлением, в большом, высоком и гулком коридоре раздалось два звонка. Напоминаю, что происходило это все летом 1944 года, во время войны с немецкими фашистами, и для того, чтоб приходить ночью, надо было иметь ночной пропуск по городу и быть вообще человеком серьезным. Неудивительно, что я открыл дверь с бьющимся сердцем.

Мы экономим электричество, и коридор наш освещается светом из наших комнат. У меня только настольная лампа, да и она небольшой силы. Поэтому фигура посетителя рисовалась уныло и расплывчато. Это был человек среднего роста с тонкой и длинной головой. Он дышал тяжело и пошатывался от усталости и, может быть, истощения, так как платье на нем словно распухло и похоже было на волокно гнилой и растрепанной временем веревки. Платье хранило название, но не предназначение. Пахло от него прелым; плохо пахло.

Тощим и невыразительным голосом он назвал мое имя и фамилию.

Несмотря на слабость и явное истощение, вызванное, несомненно, войной, я не испытывал жалости к этому шатко стоящему человеку. Во мне поднялась холодная настороженность. Он сразу же понял мои чувства. Он наклонил длинную и тонкую, как нож, голову, и я увидел явственно слезы, катящиеся по борту его рваного, прорезиненного плаща, покрытого крупными темно-зелеными камуфляжными пятнами.

И слезы эти мне показались притворными. Я пожал плечами. Можно распустить себя как угодно, но нельзя же рыдать в два часа ночи на пороге коридора перед незнакомым человеком!

— Что нужно? — спросил я.

Утирая полую плаща слезы, посетитель ответил:

— Мне действительно нужно переговорить с вами.

— Вас кто-нибудь направил ко мне?

— Нет, я сам.

Холодность-то холодностью, но он все-таки ухитрился, благодаря своему слабому виду, отстегнуть мою наглухо застегнутую душу. Вместо того чтобы попросить его уйти, я посторонился. Он прошел в мою комнату.

Внезапная, острая и жгучая мысль потрясла меня. Э, да это ведь любовник Клавы Кееновой! И опять завизжало внутри — «гиена, гиена!», и стало очень нехорошо. Нужно во что бы то ни стало подавить эти гнусные слова, и я с преувеличенной вежливостью спросил:

— Вы москвич?

— Нет, я космополит<sup>9</sup> и не прописан нигде.

Это происходило до антикосмополитической кампании<sup>10</sup>, и поэтому я не обратил на его слова внимания.

В комнате много книг и мало мебели. Обилие книг мне всегда казалось воплощенным идеалом жизни ученого и умного человека, хотя книги доставляли мне много неудобств, так как умнел я чересчур медленно и на этом медленном пути приобретал много всяческой печатной дряни. Но ни одно из моих приобретений не доставило мне столько раздражения, сколько появление среди моих книг фигуры этого человека с длинной и тонкой, как ржавый нож, головой.

— Что же вам нужно? — переспросил я.

Он повторил:

— Мне нужно действительно переговорить с вами.

— О чем переговорить?

— Переговорить о моей и вашей судьбе, — ответил он таким тоном, словно заранее был уверен, что я откажу ему в просьбе.

Я не разубеждал его. Присутствие нас двух в этой комнате казалось мне столь же несовместимым, как путешествие булыжника и стекла в одной бочке, хотя оба они могли быть из одного и того же вещества.

— Из ваших слов можно заключить, что странным образом наши судьбы взаимно связаны?

Он ответил:

— Нахожу, что связаны.

— Вы назвали мою фамилию. Очевидно, знаете меня? Хотелось бы и мне знать, кто вы?

Он молчал. Я более кратко и более зло повторил свой вопрос.

Длинное ржавое лицо его передернулось. Он ответил:

— Я молчал, так как вам могло показаться, что допускаю большую вольность в обращении. К сожалению, я не шучу и говорю правду, чему приведу неопровержимые доказательства.

После некоторой паузы он добавил:

— Видите ли, я действительно космополит Агасфер.

— То есть вы тоже работаете над сценарием «Агасфер»? Или вы должны играть роль Агасфера в моем сценарии? Но и тут разговора не получится: я отказался от работы над сценарием!

— Извините, видимо, вы не понимаете моих слов, Илья Ильич, — сказал посетитель, откидывая назад длинную голову. — Дело в том, что я действительно — Агасфер. Тот самый Агасфер... ну, да вы сами знаете легенду!

Камуфляжная плащ-палатка, изношенные солдатские ботинки с резиновыми подошвами, галифе в заплатках и дрянная замасленная гимнастерка с плеча какого-нибудь шофера, небритая ржавая и длинная голова с опухшими глазами, поблекший голос — все это было таким контрастом к жизнеописанию Агасфера, сочиненному где-нибудь в уединении средневековой монастырской кельи... я расхохотался, хотя вообще я человек не смешливый.

Мой посетитель скромно глядел вбок, погрузив свой длинный и грязный нос в не менее длинную и грязную полу плащ-палатки.

— Мне приходилось слышать, что персонажи приходят к автору, — сказал я, продолжая смеяться, — но все они приходят в более или менее приличном виде. А вы, Агасфер! Вы, чья легенда едва ли не популярнее Фауста и Дон-Жуана, — а уж Роберта-Дьявола, Роланда, Робин Гуда, во всяком случае<sup>11</sup>, — вы осмеливаетесь появиться в таком неправдоподобном образе? Ха-ха-ха!..

— Вполне разделяю ваш смех, — ответил унылый посетитель, медленно поворачивая ко мне длинную голову. — Сам не смеюсь лишь от переутомления. Впрочем, вы должны подчеркивать мою временность, как обложка книги подчеркивает и раскрывает эпоху. Если б я желал бессмертия или претендовал на звание пророка, я б оделся более странно, как, например, одевались Лев Толстой или Рабиндранат Тагор...<sup>12</sup>

— Оставьте Льва Толстого! Вы утверждаете, что вам не надобно бессмертия и что вы ищете временности? Это значит: вы ищете смерти? Значит, Горький прав?

— В чем?

— В том, что бессмертие, так сказать, тоже не конфетка: долго жить, долго страдать. Впрочем, утешьтесь: вам долго не жить.

— Ах! Ну, зачем вы так?

— Затем, что так хочу!

Я поступил жестоко, напоминая о смерти лицу почти умирающему. В иное время, случись бы подобное, вид длинноголового оборванца, сразу же после моих слов рухнувшего на кипы журнала «Русский архив»<sup>13</sup>, вызвал бы ужасное отвращение к себе.

Тут наоборот. Должно добавить, что я высок, мясист, с широким лицом и несколько приплюснутым носом. И вот плотный, широколицый стоит, слегка наклонившись к тонкоголовому, небрежно опершись ладонями о край письменного стола. Стоит — и хохочет. Мало того — хохочет, он испытывает наслаждение от своего хохота!

«Это шпион, подлец, провокатор, — твердил я самому себе, — не знаю, кем он подослан и зачем, но он, несомненно, провокатор, и я разоблачу тебя, мерзавец, разоблачу! Как бы ты ни укрывался, как ни прятался, а я разоблачу, — и головой о стену, головой».

Хохот становился неудержимо истерическим. Надо бы крепиться, но я не мог поступить иначе, не мог! Впервые в жизни своей я ощущал внутри себя такую холодную и непреодолимую злобу, что ей, казалось, не будет конца.

Мой посетитель сидел на толстых номерах журнала, подобрав ноги и втянув голову в плечи, отчего голова его казалась особенно длинной.

Внутри меня, словно по холодному желобу, катилась тяжелая, как ртуть, свирепость. Мелькнуло: «Не ищет ли он ночлега, раз не прописан, не бежавший ли это из какого-нибудь концлагеря? И не оттого ли он так покорно выносит мои оскорбления?» Нет, нет! В каждом движении моего посетителя я искал важные причины, чтобы немедленно встать во враждебное положение.

— Если вы из арестованных... даже уголовник...

— Что вы, Илья Ильич!

Тогда я повторил:

— Кто же вы и зачем ко мне?

Он опять передернулся. Ему не хотелось отвечать, и если б я еще раз повторил свой вопрос, я получил бы тот ответ, который избавил бы меня позже от многих страданий. Теперь только я понимаю, что мне следовало его напугать донельзя — и он исчез бы. Мне ни в коем случае нельзя было его оставлять! Но, увы, свирепость моя, оказывается, не была стойкой! Я пожалел его только на одну секунду. К тому же жалость была смешана с любопытством, а это самое опасное смешение. Итак, я поддался жалости, крошечной капле жалости, — и мой посетитель поймал меня! Он торопливо спросил:

— Разрешите открыть вам, откуда я получил имя Агасфер?

Хотя и нехотя, но я отозвался:

— Значит, имя Агасфер — прозвище?

— О да! Мое настоящее имя Пауль фон Эйтцен. Если вы хорошо изучали материалы по Агасферу, вы, наверное, встречали мое имя. Пауль фон Эйтцен! Боже мой, как красиво это имя и как оно подходило к улицам моего родного города Гамбурга! Я, видите ли, из Гамбурга. Пауль фон Эйтцен. Я — доктор Священного писания и шлезвигский слуга господ... ах, как это было давно! В тысяча пятьсот сорок седьмом году я, Пауль фон Эйтцен, окончив образование в Виттенберге, с радостью вернулся к своим родителям в Гамбург. Родители мои — выходцы из Амстердама. Они торговали кожами, тисненными преимущественно. Они были небогаты... на границе разорения... впрочем, зачем скрывать такие поздние коммерческие тайны! Они были нищи, — и я нищ!

— Почему же вы возвращались в Гамбург с радостью? Вы любили родителей?

— Я их ненавидел: разориться именно в те дни, когда мне более чем когда-либо нужны деньги!

— А, вы были влюблены?

— Да.

— История несчастной любви?

— Проклятой любви!

— Кем проклятой?

— По-видимому, той же любовью: выше ее, как я теперь знаю достоверно, нет бога.

— Ого!

— А почему греки достигли бессмертия? То есть в искусстве, потому что биологически другое бессмертие невозможно. Потому, что у них была богиня любви Афродита.

— У нас есть богоматерь Мария.

— Но она богоматерь, то есть родившая бога, и, значит, выше всех: попробуй-ка роди другая бога! Невозможно. Афродита же заботилась о любви всех и вся, она была очень демократичная. Нет бога, кроме бога любви.

— Простите, плотской или духовной?

— Одно вытекает из другого, разделить этого нельзя, аскетизм — величайшее преступление.

— Следовательно, плотская любовь выше всего?

— Если угодно, да!

— Ваши родители были евреи?

— Вы — по Розанову<sup>14</sup>?  
— Нет, но вы начали рассказывать о своих родителях.  
— Да, да! Они выходцы, повторяю, из Амстердама, голландцы.  
— Агасфера все называют евреем.  
— Меня тоже. Я даже сидел в гитлеровском концлагере, правда, недолго, мне ведь нельзя задерживаться на одном месте. Я иду.

— Знаю.

— Что же вас превратило в Агасфера?

Он уже слегка оправился. Опасения и тревоги, мучившие его, покинули его лицо. Осталась только болезненность. Глаза приобрели окраску, они были цвета легкого пива. Он ответил мне свободнее:

— Вы знаете, что для человека достаточно и одного неудержимого стремления к славе и деньгам, чтобы причинить себе боль и скорбь.

— Значит, все ваше почти четырехсотлетнее хождение вызвано жаждой славы и денег?

Он ответил:

— Книга моей жизни состоит из многих страниц. Разрешите раскрыть вам только первую и самую страшную?

\* \* \*

— Ее звали Клавдия фон Кеен.

— Как?

— Клавдия фон Кеен. Вас удивляет, по-видимому, имя Клавдия? Оно действительно редко встречается в Германии, но тогда...

— Продолжайте о ней.

— Она дочь богатых и знатных родителей. Мы любили друг друга. Всякий раз, когда мне удавалось вырваться в Гамбург, я встречался с ней. Она была великолепна: стройная, мощная, умная, пламенная. Я тоже достаточно силен и крепок. Она жаждала меня, я жаждал ее. Она пошла бы за мной по первому зову. Но куда? В бедность? В поденщики? Не забудьте, что в те времена было труднее передвигаться, чем в наше время, время пропусков и удостоверений. Нас могли соединить — навечно то есть — только лишь деньги и слава. Мы хотели вечной любви; вернее сказать, я; она, пожалуй, согласилась бы и на временную, на преступную даже: без венца и согласия родителей. Я же настаивал на венце, свадебном пире, о котором говорил бы весь город, визитах и так далее. «Но это невозможно! — восклицала она с негодованием. — Твои родители бедны». — «Я разбогатею и прославолюсь, хотя бы для этого мне пришлось продать самое святое в мире!» — отвечал я, и она испу-

ганно крестилась, а через минуту, испуганно прижимаясь ко мне, спрашивала: «Что же такое страшное ты собираешься делать?»

Я и сам еще не знал.

В первое же воскресенье по приезде к родным я отправился в церковь. Во время проповеди я заметил человека высокого роста с длинными, падавшими на плечи волосами. Босой, он стоял прямо против кафедры и с большим вниманием слушал проповедника. Фигура пилигрима была относительно сильна и молода, но лицо его изображало такое страдание, будто у него непрестанно и сильно болит все тело, и болит много лет. Я с раннего детства отличался мнительностью и остро чувствовал не только свою, но и чужую боль. Каждый раз, когда проповедник произносил имя Иисуса, пилигрим с безмолвным криком боли и с выражением величайшего благоговения ударял себя в грудь и трепетно вздыхал, так что заплатанный кафтан, надетый на голое тело, далеко отделялся от его груди. Зима была приметно холодная, видите ли, а на пилигриме, кроме кафтана и панталон, чрезвычайно изодранных внизу, не было другой одежды. Я не один дивовался страннику, но мне одному пришла в голову ужасная и безнравственная мысль...

— Вы это поняли сразу же?

— О нет! Значительно позже. — Он вздохнул: — Да, значительно. Не могу точно сказать когда, но, кажется, через несколько лет, когда понял силу божества любви, которое в гневе и погубило меня. Говорил ли я вам, что одним из моих любимых занятий была палеография<sup>15</sup>, чтение древних манускриптов, исследование их? Да, я, Пауль фон Эйтцен, был превосходный палеограф! Я огорожен был своими знаниями крепче любого палисадника, которым огораживает добрый хозяин свой дом. И эти-то мои знания и погубили меня...

— Вы только что сказали, вас погубило другое?

— Да, да, другое, разумеется, другое! Но, видите ли, и мои схоластические знания нанесли мне большой вред. Я смотрел на пилигрима, на его древнее лицо, и мне вспоминались пергаментные манускрипты. Вспомнился мне и манускрипт, недавно прочтенный в Виттенберге. Автором его был Матиас Парис, английский хронограф<sup>16</sup>, умерший в тысяча триста пятьдесят четвертом году. В своей хронике он писал<sup>17</sup>, что в тысяча двести двадцать восьмом году в Англию прибыл архиепископ Григорий из Армении. Архиепископ Григорий сообщил, что он видел Карталеуса<sup>18</sup>, человека с древним лицом и древними словами. Этот Карталеус во время осуждения Христа был привратником претории Понтия Пилата. Римлянин, по видимому? Когда приговоренный к смерти Иисус переступил порог